

ВОЙНА. СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ:

старшего сержанта, разведчика Семена Арии	...5
старшего лейтенанта Петра Тодоровского	...17
гвардии капитана Анатолия Черняева	...29

ВОЙНА. СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ:

(Ария, Тодоровский, Черняев)

Запись, монтаж – Зоя Ерошук

For presentational & educational purposes only

(серия letterra.org: 053)

**«Всю войну перед нами были немцы.
А 8 мая немцы кончились...»ⁱ**

**Война. Свидетельские показания
старшего сержанта, разведчика Семена Арии**

Про себя и свою семью

«Я родился в городе Енакиеве Донецкой области. И тогда это была Украина, и сейчас Украина. Город этот известен только тем, что там большой металлургический завод. На котором работал мой отец. Отец был инженер-металлург в прокатном цеху. Через несколько лет отец перевелся в Харьков в Гипромез (Государственный институт проектирования металлургических заводов). В Харькове прошло все мое детство. Там, в Харькове, я закончил среднюю школу, и там меня призвали в армию. Это был сороковой год.

В тридцать девятом году вышел закон: кто закончил среднюю школу и к моменту призыва имел семнадцать лет и девять месяцев — призывается в армию. И вот я был призван в армию и уехал служить в Новосибирский институт военных инженеров транспорта.

Эта была срочная служба в армии. То есть институт считался срочной службой. Студенты днем сидели на лекциях, а кончались лекции, и начиналась военная подготовка. Я был и студент, и солдат-срочник. Оттуда и попал на войну».

Про бомбежку

«На войне до самого последнего момента никто не верил, что живой останется. Там каждую минуту можно было погибнуть. Сидишь на НП (*наблюдательном пункте*), даже если тебя не обстреливают, прилетит шальной снаряд — и кранты! А уж если бомбежка авиационная, так это вообще кошмар был, ужас. С ума люди сходили. Просто психически тронулся человек — и всё!

Помню, на Украине в 43-м сержант Некрасов после очень тяжелой бомбежки, когда кругами примерно девяносто или сто самолетов обрушились на нас и целый час подряд, сплошняком, бомбили, и вот мы пересидели эту бомбежку в щелях, а когда

ⁱ В публикации использованы отдельные факты и эпизоды из книги Семена Арии «Про войну» (Москва: «Новая газета», Санкт-Петербург: Инапресс, 2005)

бомбежка кончилась и все вылезли из щелей, Некрасов вылезать отказался. Он был такой — среднего возраста, не молодой и не старый. И вот мы стояли над щелью и убеждали его, чтоб он вылезал. А он молчал, лежал на дне той щели, сжался в комок. Он был просто скован, не мог даже пошевелиться. И говорил нам одно: «Я не выйду». И мы его силой доставали оттуда. Да, вытащили. И он продолжал службу. Но, повторяю, бомбежка — это жуткое дело, и многие сходили от нее с ума».

Про судьбу

Зима 1942/43 года. Семен Ария — механик-водитель танка.

Танковая колонна после долгого марша втянулась в станцию Левокумская. Немцы, отступая, взорвали мост через реку Куму. И наши саперы соорудили временную бревенчатую переправу из того, что бог послал.

Комбат спросил у саперного начальника:

— А танк пройдет? Двадцать пять тонн?

— Не сомневайся! — ответил тот. — Гвардейская работа! Но — по одному.

Первый танк медленно и осторожно прополз по играющему настилу. Второй добрался до середины и вместе с мостом боком рухнул в поток. Танк Семена Арии был третьим.

После мата-перемата с саперами и угроз расстрелом комбат привел откуда-то местного дела. Дед обещал указать брод.

Усадив деда в свой «Виллис» и разъяснив Арии всю меру ответственности как головного, комбат велел следовать за ним.

Проехали километров десять. А потом комбат легко проскочил по мостику через овраг, но не остановился и не просигналил. Из-за этого танк Семена Арии подлетел к этому мосту на хорошей скорости и рухнул в овраг.

Всю ночь вытаскивали танк. Догнали колонну. Доложились комбату и влились в строй.

Все четверо членов экипажа изнурены до предела. Но больше всех — Ария. Он один водитель танка. Другие сменить его не могли по той простой причине, что не умели вести танк.

А потом случилось нечто — после краткой остановки на перекур двигатель не завелся. Командир бригады приказал: «Сидите здесь, я доложу, завтра пришлю буксир». Колонна ушла, а Семен Ария и экипаж остались. Голая степь. Мела поземка. Ни деревца, ни кустика. И лишь вдали — два сарайчика.

Сидеть в ледяном танке нет сил. Лейтенант Куц предложил: «Идем ночевать туда... (махнул рукой на сарай). Тебе надо отоспаться (кивнул Арию), поэтому ты первым отстоишь полтора часа, я пришлю тебе смену, и потом будешь всю ночь кемарить». Ария остался у танка с ручным пулеметом на плече. Ни через полтора часа, ни через два смена не появилась. Ария дал очередь из автомата — никакого эффекта. Нужно было что-то делать, иначе можно просто замерзнуть насмерть. Ария запер танк и побрел к сараям. Все спали там как убитые. Лейтенант Куц растолкал солдата Рылина... Ария рухнул на его место.

А на рассвете, когда вышли из сарая и глянули на дорогу, — нет танка. Рылин спал в соседнем сарае. Происшедшее объяснил просто: пришел ночью, обнаружил «полную пропажу объекта охраны» и, не желая никого беспокоить, лег досыпать.

Протопап в полном молчании километров десять, экипаж добрался до околицы станицы. Где и обнаружили следы своего танка. Оказалось, ремонтники приехали, увидели танк без охраны и уволокли его на буксире. Где экипаж — понимали, сарай видели, но решили пошутить.

Шутка обошлась дорого. Комбриг приказал отдать Куца и Арию под трибунал.

Про трибунал

Судей трибунала было трое — майор и два капитана. Отпечаток хорошей жизни лежал на их розовых чисто выбритых лицах и на свежих опрятных гимнастерках.

— Итак, что тут у нас? — майор надел очки. — Виновными себя признаете? Громче. Еще громче.

Не прошло и пятнадцати минут, как Куца и Арию звали обратно, и они оба оказались уже осужденными «именем Союза Советских Социалистических Республик» к семи годам исправительно-трудовых лагерей.

Это означало штрафную роту.

— Вопросы есть? — спросил майор.

— Но мы же не умышленно! — запоздало объяснил Ария.

Майор сказал:

— Если бы умышленно, мы бы вас расстреляли.

Потом их проводили в канцелярию, напечатали приговор и вручили Куцу запечатанный сургучом пакет: «Здесь документы на вас двоих и еще на одного осужденного». У стены сидел

мордатый солдат в ладной шинели и хромовых сапогах — старшина Гуськов. Лейтенант в канцелярии продолжал: «Пакет доставите в отдел комплектации штаба армии. Где он сейчас — черт его знает! Но думаю, где-то под Ростовом».

— Ну что ж, — сказал Куц, когда они тронулись в путь, — пойдем искупать кровью.

Про таинственное исчезновение

Идти им предстояло километров триста. Это недели две пути.

Хотелось есть. В селах на ночевку не пускали. Наконец сжалились две старухи. Разрешили сварить себе каши и дали по стакану молока. Утром доели кашу, попили кипятку со своими сухарями и, оставив старухам полстакана сахара, двинулись в путь. У почти последнего дома станицы Ария понял, что ему надо «присесть подумать». «Иди, — сказали спутники, — а мы тебя подождем у крайнего дома».

Больше он их никогда не увидел.

Про одинокого воина

Их не было. Нигде. Они просто исчезли. Вместе с трибунальским пакетом, со всеми документами.

Ария и сегодня не знает, что заставило лейтенанта Куца и сержанта Гуськова вдруг бросить его. Я спрашиваю: «Что могло случиться?»

«Ничего не могу сказать. Они растаяли в воздухе. Для меня это полная загадка. Наиболее вероятное развитие событий — но это чистой воды вероятность! — что этот Гуськов мог заколоть Куца, забрать у него конверт трибунальский, сжечь его и дальше отправиться один. Куда? Своими военными путями. Либо дезертировать, либо влиться в какую-то воинскую часть. Но это все догадки. Куц не мог со мной так поступить. Он законопослушный был человек. Такой же молодой, как я...»

...Дальнейший путь Семена Арии был долог и тревожен. Дважды заставал в станицах наши воинские части. Но брать его к себе командиры не хотели. Объясняли: НКВД замучает... На седьмой или восьмой день пути Ария совсем отошал.

Шел от одной станицы к другой в тонком замызганном бушлате до колен, в стопудовых башмаках с обмотками, с жалкой торбой, без оружия. Попутные машины не брали. В дома почти никто не пускал. Еды не давали.

Он ни на кого не обижался. Тем более что в конце концов отыскивалась (всегда отыскивалась!) добрая душа, которая и в дом пускала, и похлебку давала. И одинокий солдат с протянутой рукой шел дальше.

Наконец «мирно форсировал Дон и овладел Ростовым». На западе от города был почти совсем фронт. Он добрался-таки до отдела комплектации. Там записали его странные объяснения. И согласились «дать возможность пасть за Родину на поле боя».

Про старлея Леонова, еще не убитого

Когда я по ошибке говорю «штрафбат», Семен Львович мягко поправляет: «Я был в штрафроте, штрафбат — это для офицеров, а для солдат — штафрота. Впрочем, и у нас в штафроте офицеры были».

Так вот, в штрафроте первым делом капитан Васенин, спросив, «сколько» и «за что», указал на юного офицера: «Это твой взводный, старший лейтенант Леонов».

В своем военном рассказе «Штрафники» Семен Ария каждый раз при упоминании этого имени пишет: «взводный Леонов, еще не убитый» или «старлей Леонов, еще не убитый...».

...Ровно три недели пробыл Ария в штрафроте. А потом был бой.

В три часа ночи «взводный Леонов, еще не убитый», велел всем подняться на бруствер и без единого звука двигаться вперед.

— Никаких разговоров. Огонь только после сближения и только по моей команде. С Богом, ребята, мы их одолеем!

И старлей Леонов повел своих бойцов вниз по полю.

«Было уже начало марта, снег сел, и нога не проваливалась в него. Мы удачно, незамеченными, прошли большую часть своего пути. Но шорох множества ног все равно звучал в тишине, и за сотню метров от реки мы были обнаружены».

С немецких позиций взлетели осветительные ракеты. По полю хлынули зеленые и красные струи очередей. («Мы залегли и начали отвечать, целясь туда, где были истоки этих струй. Но наш редкий ружейный огонь был несравним с этой скорострельной лавиной, методично обрабатывавшей свою ниву. В редкие промежутки между очередями мы по команде взводного вскакивали и успевали сделать несколько прыжков вперед, чтобы снова пасть в снег, спасаясь от очередного светящегося веера.»)

«Взводный Леонов, еще не убитый», все поднимал и поднимал их, своих бойцов, в бессмысленные и безнадежные атакующие броски. Ария все время был рядом с взводным. Следовал за ним по пятам, откликался на все его крики и стрелял, стрелял туда, куда велел взводный Леонов. Семен уже было совсем поверил в том бою в свою неуязвимость, прыгнул вперед без взводного Леонова, и тогда тот закричал: «Стой! Там мины!»

...Потом атака захлебнулась. Она не могла не захлебнуться. Позже Ария узнал: приказ штрафникам о рукопашной схватке и о взятии той немецкой позиции перед Вареновкой был «для балды». Подлинная цель: разведка боем. («Ценой атаки вызвать на себя и засесть огонь пулеметных гнезд и других оборонительных узлов противника. Нас обманули, нам не сказали даже о минном поле у реки. В этом обмане по долгу службы участвовал и наш грешный взводный. Грешный и святой».)

Но об этом Ария узнал, повторяю, позже. А бой кончился так. Немцы почему-то не стали прошивать контрольными очередями поле, на котором неподвижно лежали штрафники. Близился гибельный рассвет. И тогда «старлей Леонов, все еще не убитый», почти шепотом передал по цепи: «Отходим ползком. Ни звука». Из того боя не вернулись девять бойцов. Около трети их взвода.

Прошло два дня. Арию вызвали к командиру роты. Командир сказал: на вас подано представление о снятии судимости, от меня благодарность. Ария должен был тотчас же направиться в распоряжение начштаба полка. Попросил разрешения проститься с бойцами и командиром взвода. Капитан Васенин потемнел лицом и вышел из блиндажа. «Нет больше старшего лейтенанта Леонова, — сказал тихо писарь в углу, — расстрелян по приказу командира дивизии». — «За что?» — «За самовольный отход с поля боя. Без приказа взвод отвел».

В тот же день Ария стоял в сумрачной избе, перед тремя членами военного трибунала и слушал определение: «За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с фашистскими оккупантами, со старшего сержанта Арии Семена Львовича снять судимость».

Семен Львович показывает мне эту историческую справку. Она хорошо сохранилась. Только на изгибах немного истерлась.

Я расспрашиваю Арию про старлея Леонова: сколько ему было лет, как выглядел, каким был человеком...

«Года двадцать три. Выше меня ростом. Худой блондин. — Помолчав: — Да, наверное, блондин. Но в основном я видел его в шапке.

Откуда родом, не успел узнать. Коротких отношений у меня с ним не было. Чисто армейские, командно-подчиненные... Но он не держался с солдатами особняком, а в нем ощущалось это... он держался по-свойски. В штрафной роте были люди преимущественно старше его, таких, как я, немного. И Леонов, несмотря на свой командный голос, старался... понимаете, проявления были такие... человеческого отношения. Не жесткого. Необычно ли это на войне? Нет, на передовой было обычно.

Да, я всего три недели пообщался с Леоновым. Но он сделал все, чтобы меня отправили в штаб полка с представлением на снятие судимости. Да, сделал это Леонов, «еще пока не убитый».

Про элемент добровольности

«Из нашего взвода меня одного представили к снятию судимости. Почему я был выделен? До сих пор пытаюсь это понять...

Нет, не потому что я там геройствовал. Один журналист как-то меня слушал, слушал, а потом говорит: «Ну, я вижу, вы там не геройствовали, на войне...» И я ему сказал: «Я не геройствовал — я служил».

Так вот, о том, почему меня одного выделили... На этот счет у меня такая мысль. Вы уже поняли, что я явился «в качестве осужденного» в отдел комплектации для направления в штрафную роту — совершенно добровольно. Там мне поверили на слово и с моих слов направили меня в штрафняк. И, видимо, этот элемент добровольности, что я ни в какой степени не уклонился, хотя мог... В неразберихе фронтовой никому бы ничего не сказал, ни в чем не признался бы, и влился бы в другую часть, и меня бы там взяли, и никто бы ничего не знал. Но я добровольно все о себе рассказал».

Про дезертирство из тыла на фронт

«Опять же один журналист меня спросил: «А как вы после штрафной роты умудрились попасть в гвардейские минометные

части? Ведь это элитные части были. И как туда штрафника могли взять?» Я ему сказал: «Я дезертировал». И его аж качнуло. Он даже дальше ничего спрашивать не стал. Решил, что сейчас будет писать очерк о дезертире Отечественной войны... (*Смеется.*)

Я действительно дезертировал. Но — как? И — куда? Я дезертировал из тыла на фронт.

Вот вам сейчас все расскажу.

После того как с меня сняли судимость, мне в штабе дивизии выдали направление: во 2-й запасный армейский полк. Полк находился в городе Азове. Практически это на фронте, но немножко в тылу. Ростовская область, на море. И я пошел пешком в этот город Азов. Сколько я шел, не помню, ну, три или четыре дня. Быстро добрался. Настроение было другое, да, не то что после исчезновения лейтенанта Куца и сержанта Гуськова... Что вы! Совсем другое! (*Смеется.*)

И вот я прибыл в Азов, у меня посмотрели мою красноармейскую книжку, что я — механик-водитель танка Т-34. И зачислили кандидатом в танковое училище, на пятимесячное обучение. Там готовили командиров танков. А я не хотел быть ни командиром танка, ни офицером... Потому что уже знал: командир танка тянет такую же лямку, как и любой рядовой солдат-танкист, но он еще и отвечает за все...

В это время приехала машина с «купцами». «Купцами» называли приехавших с передовой представителей тех частей, которые набирали себе солдат. Я увидел у них на машине огромный гвардейский знак. И понял, что это какая-то приличная часть — гвардейские части всегда были приличные.

Ну, они, кого надо, отобрали, составили списки и собрались уезжать. И тогда я схватил свой вещмешок, кинул через борт, залез туда к ним и уехал с этой машиной, куда они, — на фронт. Без списка, без «ничего».

(*Смеется.*) «Слушайте, ну мне же было двадцать лет, сами понимаете... Я был отчаянный мальчишка».

«Ну, вот я решил уехать на передовую, на фронт. Мне надоело сидеть в том Азове, два месяца ничего не делать... Я решил: уеду на фронт, к чертям! Мне это училище совершенно не нужно.

Мы проехали километров двести, наверное, или сто, я сейчас не помню. Они остановились, и те офицеры, которые приезжали за нами, начали делать перекличку.

И я оказался лишним. Они мне говорят: «А ты откуда взялся?» Я говорю: «Мне там надоело сидеть запасным, я хочу

на фронт». Они говорят: «Ну, что с тобой делать — непонятно, ехать двести километров назад, это ж черт знает что...» Потом они у меня спрашивают: «А что ты умеешь делать?» Мол, могу я им пригодиться или нет... Я говорю: «А что вам нужно? Я могу, например, водить любую механику, кроме самолета...» Они меня спрашивают: «А с мотоциклом ты знаком?» Я говорю: «Да, я могу водить мотоцикл, у меня есть опыт». А я в школе в десятом классе проходил практику — езда на мотоцикле... А у них, как выяснилось, был в полку мотоцикл, который доставлял им головную боль, никто на нем ездить не умел, и они его возили в грузовике... Я говорю: «Мотоцикл водить могу». Они: «Ну, хорошо, если ты не врешь, то ты нам тогда понадобишься, но если ты нам соврал, то мы не поленимся тебя обратно отвезти хоть за триста километров».

Когда мы в полк приехали, мне первым делом предъявили этот мотоцикл, я продемонстрировал, что знаком с этим делом, и меня оставили в этом полку. Это был 51-й гвардейский Краснознаменный минометный полк. И в нем я воевал до самого конца войны».

Про 8 мая 1945 года

«Мы узнали об окончании войны 8 мая. Это было в австрийских Альпах.

Это был день, когда немцы кончились. Перед нами всю войну были немцы. А здесь перед нами оказались американцы.

...Я всю вторую половину войны был разведчиком. Разведчиком артиллерийского минометного полка. И вот сидим на НП (наблюдательном пункте), наблюдаем за передним краем, за противником. Кто-то вдруг говорит: впечатление такое, что народ драпает с передовой. С передовой начался массовый отход солдат в тыл. А это признак немецкого наступления... Мы решили разузнать, что происходит. Ну, наши спустились вниз — мы ж на горке сидели, на НП — так вот, спустились вниз, на шоссе, и спросили: «Вы чего топаете в обратном направлении?» А там, на шоссе, нам сказали: «Всё! Войне капут! Впереди американцы, а не немцы!»

...Это было счастье — конец войны! Война кончилась, и мы остались живы! Вот было доминирующее чувство! Мы живы! Ж-и-в-ы! Все кричали: «Живы остались! Живы! Мы живые, ребята!» И палили в воздух».

Вместо послесловия

В какой-то момент разговора Семен Львович Ария нетерпеливо спрашивает: «Ну, и где вопросы студентов?» Дело в том, что я сразу при нашей встрече сказала, что мои студенты, которым сегодня по девятнадцать лет — ровно столько, сколько было ему, когда он ушел на фронт, — написали на листочках вопросы, которые они бы хотели лично, напрямую, вживую задать фронтовику. Так вот, вопросы студентов Института журналистики и литературного творчества.

— Появились ли у вас мысли перед отправкой на фронт: скоро я буду убивать? как я буду убивать?

— Доминировали другие мысли: скоро я буду убит или мне удастся выжить? Постоянно об этом думал на войне. Страх смерти сопровождал неотступно. Он был или четко выраженным, или в подсознании держался. Он мог быть неосознанным, этот страх, но был всегда. Вот этим отличалась жизнь после победы. Ушел страх смерти. Он ушел из подсознания. На войне есть людские массы, цель которых — убить тебя. А в мирных условиях ни у кого таких целей нет.

— Есть люди, которым нравится убивать. Встречались ли они на войне? И существуют ли кровожадные народы, нации?

— На войне встречались патологические типы, одержимые жаждой убийства. Одного такого я даже арестовал в Венгрии. Он был старшина. Ходил по домам и убивал мирных жителей. Я его арестовал и отвез в особый отдел. Он был старшина и парторг к тому же. Но в массовом порядке я таких людей не встречал. Скорее всего это больные люди. А может, люди жестокие.

Что касается народов... Вероятно, какие-то отличия национальные существуют. Это я не исключаю. Но! Человек как биологический вид единственный, на мой взгляд, кто широко практикует внутривидовое убийство. Ни одно живое существо в мире не занимается внутривидовым убийством. Даже поединки в борьбе за самку никогда не направлены на убийство противника. Они всегда направлены только на подавление. А человек в течение всего исторического периода своего существования практиковал внутривидовое убийство. Вот войны являются наиболее характерным выражением этого смысла. Это поразительно. И это страшно. Не исключено, что «благодаря» этому человечество вообще является самоуничтожающей системой.

— Думали ли вы там о Боге?

(Сама я прямых вопросов о Боге в интервью избегаю. Мне кажется, это очень личные, интимные вопросы. Но здесь — вопрос студента... Кстати, вопросов о Боге там, на войне, было у студентов много, почти в каждом листочке. — З.Е.)

— Да! Думал. До войны этого чувства не было. Появилось там, на войне. Появилось само собой.

Вообще должен вам сказать... Это мысль, к которой я пришел уже теперь. Я считаю, то обстоятельство, что у любого человеческого племени на любой части земного шара неизбежно появлялась вера в существование высшей силы, высшего существа и потребность молиться, — не могло быть объяснено никакими иными обстоятельствами, кроме существования этой силы. В противном случае это носило бы избирательный, отдельный характер. У одних это высшее существо появилось бы, у других — нет. А ведь это появилось у любого человеческого племени. Это оказалось генетически заложено в душу. Кем?

В этом я нахожу одно из доказательств существования Бога. Но это я понял уже сейчас. А тогда, на войне, у меня появилось просто ощущение того, что есть Нечто, что предопределяет пути, и от этого Нечто зависит для меня исход.

Я не могу это отнести к какому-то определенному временному моменту. Но с тех пор как я попал на передовую, где уже господствовала смерть, с этого момента возникло религиозное чувство.

— Ваше отношение к Сталину на войне и после?

— К Сталину во время войны я относился так же, как все. Верховный главнокомандующий, вождь советского народа...

На войне не задумывался, что в действительности представляет собой Сталин. Уже сразу после войны понял.

А еще я помню, что когда жил в Харькове, и, как вам уже сказал, в среде обитания инженерно-технических работников, потому что мой отец был инженером; так вот, этот инженерный харьковский мир от арестов обезлюдел. Дома, в которых жили инженеры и работники технических трестов, стояли без света. Абсолютно пустые квартиры, подъезды, дома.

— Часто ли вы говорите о войне с близкими и родными?

— Бывает. Но редко.

Рассказываю только курьезные случаи. Вот такой, например. Мы ехали как-то зимой, был крутой мороз, солнечно. Был такой долгий марш, переброска на другой участок фронта. Потом остановились немножко отдохнуть и погреться. В каком-то селе, сейчас уже не помню, то ли на Украине, то ли в Молдавии. И забежали в один дом, очень опрятный крестьянский дом. Мы просто так забежали, погреться у печки. И вот у меня перед глазами до сих пор картинка: там на табуретке спал кот. Толстый, чистый, довольный кот. И старшина стряхнул этого кота с табуретки со словами: «Довольно спать! Сейчас — военное время!» *(Смеется.)*

— Какое отношение было у немцев к врагам? Все ли немцы вели себя, как звери, или были среди них те, кто убивал по необходимости? Все ли немцы ненавидели

русских, или были такие, которые просто воевали без ненависти?

— На фронте был пропагандистский плакат, на котором изображен мальчик, обращающийся к солдату: «Папа! Убей немца!» Этот плакат на фронте называли: «Папа! Убей интенданта!» *(Смеется.)*

Ненавидели ли немцы русских? Немцы презирали русских. А ненависти они никакой не испытывали.

Презирали не из-за пропаганды, а потому что видели наш уровень жизни. Даже не уровень жизни, а образ жизни.

А на войне немцы выполняли долг. Святой ненависти не было.

На немецких кладбищах, на крестах, которые стояли на могилах, была надпись по-немецки: «Герои долга». Это было на любом кресте. По всей войне. Везде, где на нашей территории немцы хоронили своих убитых.

— Чего вы на войне боялись, помимо собственной смерти и смерти близких?

— Увечья боялся. Больше смерти боялся увечья. Потому что на фронте бывали такие увечья, относительно которых можно было заранее предвидеть, что вся дальнейшая жизнь будет пыткой.

— Какой главный урок войны?

— Основной урок войны: любая война — это ужасное несчастье. Полная ломка и жизни, и быта, и счастья. Война приносит только несчастье.

То, что я остался жить, — это чистая случайность. Абсолютно чистая! И абсолютная случайность! И уже одного этого достаточно, чтобы считать — лучше бы этого опыта войны у меня не было совсем и никогда.

«И вдруг всё тихо, тихо...»

Война. Свидетельские показания старшего лейтенанта Петра Тодоровского

Война началась, когда Петру Тодоровскому было пятнадцать. Шестнадцать лет исполнилось в августе сорок первого. В восемнадцать лет его взяли в Саратовское военное училище, где он проучился одиннадцать месяцев. На фронте — девятнадцатилетним — он пробыл ровно девять месяцев: с августа сорок четвертого по май сорок пятого.

Про предчувствие войны

«Что знал о войне перед войной? Смеясь, поет: «Если завтра — война, если враг нападет, <...> Как один человек весь советский народ...» Вот все, что мы знали. Запросто! Все будет запросто! Что вы! Мгновенно тот, кто сунет к нам свое свиное рыло, будет бит на его же территории... Плакаты об этом, все песни об этом — о войне, естественно, только победоносной... Мы были внутренне готовы именно к такой войне и подспудно заранее уже были рады, если бы что-то такое началось». (Смеется.)

Про 22 июня 1941 года

«Я родился в небольшом районном центре Бобринце Кировоградской области. И вот в этот день, 22 июня сорок первого года, я взял мяч, и мы с пацанами ушли на окраину города играть в футбол. А когда уже к концу дня вернулись, такие вспотевшие, с потеками пыли и грязи, настоящего стадиона не было, было просто поле, и вот мы после футбола входим в центр городка и видим, что там небывало много людей, такое только на демонстрациях случалось, 7 ноября или 1 мая. И голоса вокруг: «Война! Война! Война!», «Немцы напали! Ах, сволочи!».

Я вернулся домой, а мать рыдает... Мой старший брат Илья уже служил на границе, и она своим мудрым умом и жизненным опытом понимала: теряет своего старшего сына... Что и произошло. Илья погиб. — Помолчав: — Конечно, погиб».

Про военное училище

«Я только что окончил девять классов. И вот нас выстроили в школе на линейке и сказали: у кого уже есть девять-десять

классов — выйти из строя... Всё!!! То есть нужно было хоть какое-то базовое образование, чтобы одолеть учебу в Саратовском военном училище. Я тоже шагнул».

Про дорогу на войну

«Дорога на фронт длилась долго. Где-то месяца полтора. В поезде мы ехали, в теплушках. Без пересадок, но когда идут эшелоны с боеприпасами, с вооружением, их в первую очередь пропускали, а они шли и шли, а мы стояли и стояли.

Когда мы уезжали из училища, нам дали на месяц сухой паек: ну, там крупа, шпиг... Съели мы все за полмесяца. А добились на фронт, как я уже сказал, месяца полтора. Ну, вот все едем и едем, все стоим и стоим... А есть-то хочется. А есть уже ничего у нас нет.

На границе Белоруссии и Польши, на полустанках старушки стояли и что-то из еды продавали. А когда в Польшу въехали, там уже «Бимбер» был. «Бимбер» — это водка. На всю жизнь запомнил (*смеется*): «Бимбер»...

Денег нету, как вы понимаете, поэтому, чтобы купить еду, запасное белье пошло в ход, запасные портянки, запасные носки. А затем уже (*опять смеется*) променял я и свою шинель... На «Бимбер», да, на «Бимбер»... Знаете, еще теплынь такая была, лето, шинель лежала в стороне...»

Про первую ночь на фронте

«На передовую попал в начале августа сорок четвертого. Вот считайте: август, сентябрь, октябрь... Девять месяцев — чистых девять месяцев! — я был на передовой. Отлучился только по ранению — на две недели в госпиталь. Тяжелый снаряд разорвался рядом, меня ранило и контузило, и я лишился слуха. У меня левого уха нету. Еще первое время что-то там фурычило, а потом совсем им перестал слышать. Ранение было в Германии, это уже март сорок пятого.

Так вот, первая ночь на передовой... Холодно, окоп сырой... И все вправду, как в моем фильме «Риорита»... Сержант мне говорит: «Вы ж так околете, товарищ младший лейтенант...» И дальше говорит: «Я тут приглядел одну шинель...» Он не сказал, что на мертвом немце эту шинель приглядел... — И после паузы, очень серьезно: — Это было самое страшное, что я ощутил на войне: та первая ночь...

Потом на войне человек ко всему привыкает: к взрывам, к выстрелам... Все приедается, ко всему адаптируешься... Потому что история войны — это и есть история жизни.

Да, это такая теперь твоя жизнь — когда ты каждые пять секунд можешь получить железо в затылок или в грудь.

...Но вот та первая ночь. Мы с сержантом подползли к убитому немцу. А это здоровый был мужик, молодой, но такой очень большой, огромный. Мы подползли к нему сзади, а он как будто замер, и руки вот так впереди себя сцепил. Снаряд, наверное, совсем рядом с ним разорвался.

И весь этот процесс стаскивания с мертвого немца шинели, этот процесс очень долго длился. Мы сначала немца вытащили из траншеи, потом трясли долго-долго, чтобы вытрясти из шинели. А у него успели уже руки заоченеть. Пришлось разводить — это очень тяжело было — его руки в стороны... Потом через голову содрали шинель. И все это время, пока мы стаскивали с мертвого немца шинель, я был в ознобе и страхе. Да, это был самый большой страх за всю мою войну...

Когда тащили немца из окопа, то сержант — за сапоги снизу, а я — лицом к лицу, вот так, под мышку пытался взять, но получалось — прямо вплотную, лицом к лицу... Он, похоже, совсем новенький был на войне, из недавнего пополнения. И шинель на нем была новенькая, английский материал.

Я в этой шинели долго ходил. Почти до самого своего ранения. Вот говорят: плохая примета — с убитого шинель брать, это значит, тебя самого скоро убьют. А меня не убило. Только ранило. Но я-то уже к тому времени в другой шинели ходил.

А в той, с убитого немца, пока не попался на глаза командиру полка и он не сказал: «А это что за чучело? Что за пленный солдатик?»

А до этого никто на меня в шинели с убитого немца не обращал никакого внимания. Другие вообще ходили в телогрейках».

Про артобстрел

«Всякое было: и обстрелы, и бомбежки, и артналеты неожиданные.

Есть сцена в «Риорите», где молодая пара лежит под сгоревшим вагоном. Так вот, и это было со мной. Я попал под сгоревший вагон, и тут начался жуткий артобстрел. Он был еще более жуткий потому, что пули и снаряды бьются о железо вагончика, осколки попадают в металл. Стоит яростный шум-звон. Это не

просто взрывы, а взрывы после взрывов. Что-то такое сплошное, непрерывисто-долгое, какое-то бесконечное а-а-а-а...

Я, конечно, урылся в землю, лег, инстинктивно закрывая голову руками. Все, что угодно, а голову надо прятать... Это почему-то очень важно было на войне. Что-то такое чисто интуитивное — прятать голову, и все прятали, прятали именно голову, как будто все другие части тела не жалко...» (*Смеется.*)

Про самых «выбываемых»

«В своем взводе я командовал пехотой. А больше всего на войне выбивало пехоту. И командир пехотным взводом — это самая «выбываемая» категория бойцов. Командир взвода должен бежать впереди и звать за собой людей, а командир роты — бежит уже сзади. А командир батальона — тем более: он должен все обозреть. Так вот, повторяю, самые «выбываемые» — это те солдатики, те младшие лейтенантики, которые бежали впереди всех и кричали: «Вперед! В атаку! За мной!» И мне (*вздыхает*) надо было бежать и кричать: «Вперед!», чтоб взвод за мной побежал...

А солдаты были много-много старше меня. И это было самое сложное — найти общий язык с ними.

Я воспитан был в своей семье так, что старший тебя по возрасту — это старший во всем. И слушаться надо старшего. А тут меня должны были слушаться.

Старался не ругаться. Не кричать на солдатиков. И как-то найти такое отношение, чтоб они хоть немножко тебя зауважали. Тогда будет все в порядке. Тогда они станут беспрекословно выполнять все. Тогда будут стараться.

И они меня зауважали. Ну, во-первых, им очень понравилось, что я хожу в этой шинели с пленного немца. (*Смеется.*) Все в этой шинели было обрезано: рукава, внизу полы, ну, это не шинель была, а сплошная бахрома...

Во-вторых, моим солдатикам нравилось, что я на них не кричу, что я тихо разговариваю. И что я — за них.

Вот, к примеру, солдатики мои как-то взяли и разожгли ночью маленький костер и что-то там хотели подогреть. То ли вчерашний суп, то ли добыли чего, они у меня еще те добытки были... В это время шла инспекционная комиссия, командир полка впереди, за ним — заместители. И они увидели дымочек. Это считалось серьезным нарушением: ночь, а в ночи огонь. Да еще перед сильным наступлением.

В общем, когда началось утром сильное наступление и меня потом представили к ордену Богдана Хмельницкого, потому что я в том бою корректировал огонь всей артиллерии, то на этом представлении командир полка написал: «Отказать за топку печей в обороне». (Смеется.) А там был такой маленький-маленький огонечек. Щепки какие-то...

Ну, орден тот не дали мне, конечно. Командир полка — это инстанция!»

Награды Петра Годоровского за войну: три ордена Отечественной войны (два из них — I степени и один II степени) и много медалей.

Про самое мучительное воспоминание

«Это когда я хоронил своего замечательного друга Юру Никитина, с которым учился в Саратовском военном училище. Я свой первый фильм «Верность» посвятил ему. И своего героя в этом фильме назвал Юрой Никитиным.

Хоронили Юру уже на немецкой земле. Хоронили я и Сережа Иванов из Астрахани, который тоже учился с нами в военном училище. Эта была такая смерть... понимаете... когда убивают кого-то в бою, а ты бежишь рядом, то пробегаешь дальше... тебя практически это не касается... тебя тоже могут убить в любую секунду, это такая жизнь на войне... Не возникает чувства потери. А когда убивают твоего замечательного друга, чувство потери возникает...

Замечательный парень был Юра Никитин. Детдомовец. Он еще не познал любви.

Не познал женщину.

Ушел из жизни в девятнадцать лет. Ему бы исполнилось двадцать в сентябре сорок пятого. А он погиб в феврале сорок пятого.

Солдатики помогали нам с Сережей Ивановым рыть могилу. Мы отнесли Юру немного в тыл. Вырыли могилку. Солдатики подтащили два бревна. Сколотили мы потихоньку из этих бревен крест и поставили его на могилу. И написали: «Юра Никитин».

Вряд ли, конечно, это место сохранилось сегодня...»

Про пережитые страхи

«Когда мы уже расставались с моим капитаном Пичуговым, с которым я очень подружился на войне, то обменялись фотографиями. И на своей капитан Пичугов написал: «Пете Годоровскому — на память о пережитых страхах».

Я вам вот что скажу: человек придуман так, что хочет жить.

У меня был текст:

«А ты знаешь, почему человек боится смерти?» — это один солдатик спрашивает другого. А тот отвечает: «Потому что хочет жить».

Поэтому о страхах что сказать? Страх на войне уходит куда-то в глубину, он есть, он присутствует, но где-то там, внутри-внутри...

Были такие смельчаки, которые ночью выходили из траншеи — именно в тот момент, когда идет стрельба. Они разгуливали на бруствере, просто так, без особой надобности, стреляли в сторону противника. Они рисковали жизнью. Но это что-то чисто нервное. Какая-то такая особая душевная организация: вот ты сейчас или жив, или убит... Да, да, русская рулетка. Я такую «смелость» не понимал.

А у остальных страх был, был... Потому что, повторяю, человек устроен так, что хочет жить... Такая он скотинка, человек — хочет жить».

Про радость на войне

«На войне было все: смерть, несправедливость, бездарные командиры, героические ребята, любовь... Да, была любовь... И радость была. Вот как-то в обороне к нам стали приходиться девушки-снайперы. Для них вырывали, выкапывали специальные ячейки. У нас была такая нейтральная полоса — между нами и немцами — сто с лишним метров, и, значит, у девушки-снайпера задача: стоять и ждать, когда немец высунется, высматривать и держать немца на прицеле за той нейтральной полосой. Помню, что это был декабрь сорок четвертого, Польша. И вот можете себе представить: тишина, солдатики в обороне прижились как-то, а тут еще такие замечательные девушки... Ну, вот она стоит, эта девушка, она на работе, а внизу сидят рядом с ней солдатики и смотрят на нее восхищенно-восхищенно... Тут же и шутки, и веселье.

И вот еще радость: если ты попал в госпиталь... *(Смеется.)* Белые простыни, опять же молоденькие красивые санитарочки... И ты — чистый-чистый. А то вечно ж завшивленный, в одежде жуткой. А по вечерам в госпитале под аккордеон — танцы. Тоже — радость, радость!»

Про плодотворность опыта войны

«Так же опыт войны противоестественен, как опыт сталинских лагерей? Нет, война — это другое...

Лагерь человека превращает в букашку, в ничто, человек там — уже не человек, он подавлен, унижен, ограничен во всем... Нет, на фронте было по-другому. Там ты просто выполнял свою военную работу. И внутри этой работы был свободен.

На переднем крае все могло случиться. Особенно когда идет наступление.

...Однажды мы долго никак не могли взять одну деревню, немцы сопротивлялись отчаянно, не сдавались. И вот я видел, просто случайно оказался рядом, как ночью командир корпуса бил палкой по голове командира полка и приговаривал: «Если ты завтра не возьмешь эту деревню — расстреляю...». И утром деревня — ценой невероятных потерь — была взята.

Но это отдельные случаи. А вообще на войне люди были свободные, нет, это не лагеря...

...Знаете, я вспоминаю войну очень часто и... (смушенно, со смехом) светло. Потому что это была молодость. И все как-то очень легко переносилось. И просто, грубо говоря, забывалось. Не накапливалось.

Сейчас Спилберг снимает фильм о войне. Он говорит, что его интересуют не выстрелы, не стрельба, не атаки. Его интересует внутренняя жизнь солдата. И меня ровно это интересовало всегда. Меня интересовал человек на войне, а не сама война.

Люди по-разному себя вели. Были и трусы. Были и такие моменты, когда надо было солдата поднять в атаку, чтобы он побежал навстречу огню... Так вот, порой для этого надо было приложить его, солдата, прикладом по спине. Это было жестоко, жестоко. Но как жестока была сама по себе война.

Вот кто ее придумал, войну? Не знаю. Или ее никто не придумывал — она всегда была? Сколько жили люди, они всегда убивали друг друга. Это очень, очень печальная вещь.

А о плодотворности опыта на войне скажу так: конечно, лучше бы этого опыта не было вообще. Но армия, само училище выработали во мне, знаете, что? Чувство самодисциплины. То есть я хочу, чтоб вещь, которая мне нужна, лежала там, где я ее всегда бы мог найти. Всегда! Вот свет погас неожиданно, а я руку протянул — и взял все, что мне нужно. Это у меня теперь в крови, просто в крови».

Про атаку и спирт и «первачков»

«Перед атакой старшина нес полведра спирта и каждому зачерпывал кружку... Вот идет артподготовка, а старшина обходит солдат и дает кружку — можно сделать глоток, можно два глотка, можно выпить полкружки, можно вообще не пить...

Новичок («первачок» называли) от страха выпивал больше, чем положено, ну, полкружки, например, и после этого он выскочил из траншеи и побежал в атаку... и вот он бежит, бежит навстречу огню, и кричит, и сам себе смелым кажется, и лезет на рожон... и погибает...

Новички, хлебнув лишнего, почти всегда погибали в первой же атаке. А «старички» или вообще не пили, или делали вид, что пьют: пригубил и все. Если чуть-чуть выпил — это помогало в атаке, а если много — губило.

Я пил спирт перед атакой. Но чуть-чуть...» *(Смеется.)*

Про быт

«На войне жили в траншеях. Полевая кухня приходит раз в сутки. Где-то к часу ночи. Она останавливается метрах в ста от нашего окопа, в каком-нибудь удобном месте, в лощинке. Мы берем котелки и идем повзводно в эту кухню. Получаем «шрапнель» — это так называется перловая каша. Есть такие снаряды, которыми выстрелят — и они рассыпаются мелкими кусочками, иногда даже шариками. Поэтому мы назвали перловую кашу «шрапнелью». Каша, естественно, без масла. Какое там масло могло быть. Получаешь еще большой бесформенный кусок сахара-рафинада. Полбуханки хлеба. В котелок плеснут чай, но это не чай, а что-то такое просто тепленькое. В каше бывает иногда мясо. Ну, вот и все. Эта еда нам на сутки. Мы все съедали сразу, и за щекой держали какой-нибудь кусочек рафинада, а оставшийся сахар прятали в карман, он уже черный потом становился...

Когда довольно долго стоим в обороне, обживаемся. Солдатики режутся в карты: кто-то достает замусоленную колоду. Кто-то что-то рассказывает. Кто-то мурлычет себе песенки под нос. Кто-то вспоминает про свою любимую, про родителей. О-чень много всякого друг другу рассказывали... Там окопные песни были. Солдатики самодельные песни в войну свои придумывали. Я их уже в точности не могу вспомнить. Но помню, что все они были «на имена»... Маша, Лина... Это они своим девушкам сочиняли. Это то, что я помню. Были такие: «Я был ранен, лежал в ла-

зарете, поправлялся, готовился в бой, вдруг приносят мне в белом пакете замечательный шарф голубой». Это про подарки, которые солдатам присылали с тыла. Со всей страны фронтовикам присылали, и мы в затишья или в госпиталях получали».

Про аккордеон

«Как-то, уже в Германии, солдатик один притащил мне аккордеон. Я раньше аккордеон живьем в глаза не видел. Только в фильме «Тимур и его команда».

Когда Польшу проходили — там бедность, нищета... Там взять нечего. Ни у кого ничего нет. Там даже были такие шутки: солдат спрашивает поляка: «А где тут у вас туалет?» А поляк отвечает: «Нэма, вшиско герман забрав» («Нет, все немец забрал»).

А когда вошли в Германию — были потрясены. Идем по большой дороге, видим — три-четыре дома, это хутор...

В домах никого нет, все бежали. Но в подвалах домов — окорока, закрутки (которых мы в России еще не знали), утки, куры... Там началась такая жирная (*смеется*) жизнь.

Вот картинка: бежит солдат и на плече тащит огромный копченый окорок. Ну, мы быстро тогда ножом поработаем... Так что в Германии мы уже «шрапнелью» пренебрегали. (*Смеется.*) Так вот, про аккордеон... Мне солдатик говорит: «Товарищ лейтенант, вот вы все время что-то мурлычете, насвистываете, а я тут гармошку нашел, я ее положил в обоз...» Обоз — это повозка, где ящики с минами. Но я тогда даже не пошел смотреть. Некогда было.

...Месяца через два только посмотрел я в обоз, а там лежит в черном бархатном футляре этот аккордеон. Стодвадцатибасовый! Это самый большой, самый богатый был аккордеон, клавиши перламутровые... Где-то солдатик бежал, заскочил в дом, никого там не было... Обычно солдатики, да и мы, младшие офицеры, в таких случаях что брали? Хорошие перчатки... Это было такое легкое мародерство. Кто «поумнее», постарше был — те искали золотишко, бриллианты, кольца... Но это все по ходу дела, не то что там ходишь, выбираешь...

И вот после войны меня назначили комендантом маленького немецкого городка. Ну, такого, совсем маленького, что-то вроде поселка городского типа. Вдоль Эльбы стоял этот городок. И вот я в свои девятнадцать лет — комендант немецкого городка. Занимаюсь всякими хозяйственными делами. А еще у меня в подчинении взвод мотоциклистов-автоматчиков, и ребята эти

такое творили... Были и изнасилования.... И налеты... И я со всем этим целыми днями разбирался...

А по вечерам вцеплялся в этот аккордеон.

Вечером, после всех дел, все закончу, снимаю с себя гимнастерку, до трусов раздеваюсь — и играю, играю на аккордеоне. Все сам научился. Никто не учил. Сначала правую сторону освоил. «На позицию девушка провожала бойца...» (*Поет, улыбаясь.*) Потом взялся за левые басы.

А когда мы вернулись в Россию, а вернулись мы где-то в марте сорок шестого года, я уже очень прилично играл на аккордеоне».

Про 9 мая 1945-го

«О, это было потрясающе. Я с любовью вспоминаю этот день. ...Мы с боями вышли на берег Эльбы. Непрерывный огонь шел, голову невозможно было поднять. Немцы поставили зенитные орудия — и вовсю по нам... И вдруг все затихло. Мы с победными криками «ура!» выбежали на берег Эльбы, а там уже никого не было... А потом выяснилось, почему на этом участке был такой массивный огонь. Оказывается, немцы переправляли через реку свои семьи, документацию...

Но вот все стихло. Светило солнце. Зеленая трава. Были белые облака. И самое главное — наступила оглушительная тишина. Настолько непривычная тишина, что не передать.

Всю эту фронтовую жизнь ты был под прессом, бесконечный гул, стрельба, бомбежки, артобстрелы... И вдруг всё тихо, тихо... Да, повторяю, это было так непривычно и так странно... Мы даже вначале не понимали, что это такое — реальное что-то или так кажется... Потом сбросили вонючие сапоги, вонючие портянки и завалились в траву.

Я об этом уже много раз рассказывал, но все равно не могу удержаться, остановиться и перестать про это вспоминать. Вот Сережа Иванов, завалившись вместе со всеми нами в траву, сказал: «Всё! Просьба не беспокоить!».

Это было еще до объявления конца войны. Я заснул в той траве. А потом проснулся и вижу — чудо, вижу его, Сережи, грязная нога торчит из травы, и на большой палец сел мотылек. И я подумал: «Вот это конец войны».

А потом приехал комдив. И сказал: «Друзья! Война окончена». Ну, тут началась стрельба в воздух со всех видов автоматов и орудий... Ну, это как везде...»

Послесловие

Про оператора на войне

«Это я видел на фронте всего один раз. Были тяжелые бои на восточном берегу Одера. И мы шли такие грязные, измученные, все в земле... Мы же в бою были все время в земле... Как кроты, понимаете? Других вариантов не было. Сплошные траншеи, окопы, ямы, лощины... И вот мы после боя пошли к воде, чтобы умыться. И рядом с нами остановилась полуторка. И соскочил из нее военный человек, с автоматом, достал маленькую камеру и стал в упор снимать проходящих мимо солдатиков. И я подумал: «Какая это замечательная профессия! Вот он сейчас снимает эти лица... а потом все это кто-то увидит, и это на годы...» И я подумал, что если останусь жив, то постараюсь стать оператором...»

Про почти всю погибшую семью

«Всю жизнь мы писали в разные места, чтобы узнать: где, как и когда погиб мой старший брат Илья. И шестьдесят лет нам отвечали: среди погибших и пропавших без вести не числится. Четыре года назад раздается звонок. Из Коломны. Молодой голос говорит: «Петр Ефимович, я руководитель поисковой группы...» Так вот, тот молодой голос по телефону сообщает мне, что нашел могилу, точнее, то место, где погиб мой брат. Илья погиб 21 января 1942 года. В Новгородской области, в деревне Водосье.

Этим ребятам из поискового отряда местные жители рассказали, что во время войны в ров набросали трупы офицеров, засыпали землей и пошли дальше...

И вот парень из поискового отряда нашел орден. И с этим орденом он сидел в Центральном архиве. Пытаясь найти хотя бы часть, а может быть, и человека, которому бы этот орден мог принадлежать. И в огромных гроссбухах парень нашел: Тодоровский Илья Ефимович... Так что мама не зря сразу почувствовала — Илья не вернется. Папа был более замкнутый человек, он тоже переживал, но скрывал это. Папа преподавал труд в школе, был завскладом, работал в магазине. Потом — на фронте, но на трудовом. Детей в семье было трое: Илья, я и старшая сестра Раиса. И вот мы все писали те письма про Илью, чтобы узнать место, где он погиб... И нам неизменно отвечали: нет, нет, нет... И вот все ушли из жизни: и мать, и отец, и сестра. И когда только я один остался, я узнал, где был похоронен Илья».

После паузы: «За войну наша семья потеряла двенадцать

человек. Среди них: в нашем городке расстреляли дедушку и бабушку по матери. Родная сестра отца с мужем и тремя детьми погибла — их раздавил немецкий танк. Они бежали, и их настигла такая смерть. И собственно на фронте погибли мой старший брат, родной брат моей мамы и племянник родного брата мамы...»

И еще помолчав, с горечью: «Немцы успевали в наступлении или в отступлении вывозить — всех до одного! — своих раненых с поля боя и хоронить убитых.

А у нас миллионы незахороненных солдат осталось с той войны. Вот вам пример моего брата. Был себе ров. Побросали солдат. И никак не отметили. Просто засыпали. И случайно старик из той деревни вспомнил, как сбрасывали убитых, и сказал: где-то здесь должен быть...»

«Все кричали: «Ё...т...м!!!»ⁱ

Война. Свидетельские показания капитана Анатолия Черняева

Попросила студентов, чтобы они написали о Дне Победы. Почему-то долго уговаривала их быть предельно искренними. Договаривалась: студенты писать что-либо об этом празднике наотрез отказались. Я сначала, как нынче говорят, была в шоке. Потом решила выслушать... ..вы ведь искренне хотели, да? но написать искренне у нас не получится (примерно так объяснили мне студенты), мы не понимаем этот праздник, во всяком случае — в том виде, в каком он у нас сегодня; зачем все эти Парады у Мавзолея, помпы, пафосы; ветераны стоят, как куклы; просто театрализованное действие...

Проговорили часа полтора. Слушала, старалась не перебивать... Только раз оборвала одного юношу, когда тот сказал: «Зачем тратить деньги на стариков? Лучшие — на нас, молодежь...» Тут я не выдержала: «Гарантирую: оглянуться не успеете, как сами станете...»

Непоротое поколение — оно ведь разное. Сама по себе непоротость — еще не доблесть. Жванецкий говорил: «А что — молодежь?! Что — молодежь?! Да мы захотим — и у нас молодежи вообще не будет...» Но она есть, эта молодежь. И разрыв в поколениях есть. Что делать, чтобы не было взаимонепонимания? Как объясняться? Через какие подробности жизни?

А потом я встретила с фронтовиком Анатолием Сергеевичем Черняевым. И поняла: о том, как он двадцатилетним студентом ушел на войну, надо рассказывать вот этим моим двадцатилетним студентам.

Про окопы

«Война началась, когда мне только что исполнилось двадцать лет. Я окончил третий курс истфака Московского университета. Все лето до осени мы копали противотанковые рвы километрах в сорока от Рославля. Это была совершенно бессмысленная затея. Немцы нас обстреливали, бомбили, потом просто легко обходили эти наши рубежи. Мы еще не закончили со своей «первой линией», как нас погрузили в военные грузовики и отвезли километров на пятнадцать назад. И снова приказали рыть

ⁱ В публикации использованы отдельные факты и эпизоды из книги Анатолия Черняева «Моя жизнь и мое время». — М.: Международные отношения, 1995.

длинный извилистый противотанковый ров. Потом по тревоге снимали с недорытых рвов еще раза три. Так продолжалось до начала сентября сорок первого. Мы рыли, немец обходил наши сооружения, нас срочно отвозили назад, мы опять рыли, он опять оказывался у нас за флангами».

(Потом Черняев напишет: «...Вместо идиотского, обреченного с точки зрения эффективной обороны занятия, на которое были брошены десятки тысяч студентов Москвы и других городов, можно было за несколько дней создать сильные боевые отряды. Эти уже обученные боевому делу ребята, спортивные, знающие оружие, полные тогда, в первые месяцы войны, патристического идеализма... Они знали друг друга <...>, были повязаны коллективным мужским долгом чести <...>».

Наверное, тут не только глупость и не только бардачно-паникерское состояние властей и высшего командования в тот момент. Сказалась, по-видимому, и идеологически-охранная установка — не осознанная, может быть, но отработанная партийной привычкой — на усредненность рядового состава, на его разношерстность, исключаящую превращение полка, батальона, роты в единый организм, способный отстаивать свое достоинство, раз уж готов платить «за порученное дело» жизнью. Уже в ходе войны стихийно возникали подобные подразделения-коллективы, особенно среди разведчиков <...>. Летчики особая статья... Но это как редкость. И воевали они отменно и с меньшими потерями»).

Про первое унижение и разочарование

«В сентябре сорок первого нас вернули в Москву. А в начале октября я ушел добровольцем в армию».

В армии он пробыл с октября сорок первого (с ноября — на фронте) до пятого мая сорок пятого. За вычетом госпиталя (три месяца) и курсов переподготовки офицерского состава (месяц) тридцать восемь месяцев фронтовой жизни. Начинать сержантом, помкомвзвода лыжного батальона, а к концу войны стал фактически начальником штаба стрелкового полка, гвардии капитаном. Либо на самой передовой, либо рядом с передовой.

«...Летом и осенью сорок первого кто попал в плен, кто был убит, кто ранен, и вот на их место пришли такие, как я. Студенты. В университетах и институтах нас обучали военному делу, мы были знакомы с оружием. Но! Представьте: с осени

сорок первого командовали на войне в основном именно бывшие студенты, бывшие инженеры. Они заменили кадровых командиров. Батальонов, взводов, а потом и полков».

Про то, что у него бронхиальная астма, в военкомате не сказал.

Первое унижение: обрили наголо. А он считал «единственной красотой физиономии» — свою прическу. Поэтому, когда садился в автобус, главной заботой было — не снять шапку. Боялся, что «таким» (*с «ликвидированной прической» — это его термин.* — **З. Е.**) запомнят «навсегда» мама, сестра. И — девушка, с которой незадолго до войны познакомился. (Потом эта девушка всю войну его ждала. Потом стала его женой. Ей больше, чем кому-то, он писал с фронта. Пачку его военных писем она хранила, не расставаясь с ними, но их выкрали у нее из сумки в трамвае. Это случилось вскоре после войны. Она считала, что там были «похоронены его писательские задатки». Он действительно учился писать на войне. Вел дневник (хотя это было запрещено). И любил сочинять «содержательные письма».)

До «назначенного пункта» под Горьким они, новобранцы-добровольцы, должны были добираться поездом сами.

На огромном пространстве — землянки метров по сто каждая. В них копошились и болтались без дела тысячи и тысячи мобилизованных. Спали вповалку. Кормили чем-то непонятно отвратительным. «Туалет» запомнил на всю жизнь. Соседний редкий лес, просека метров пятьдесят шириной. И — ни одного «живого места», загажено настолько, что ступить некуда.

Горестно обсуждает это с Гафтом, студентом второго курса истфака, с которым познакомился в поезде.

Про дурь

Через неделю объявили тревогу. Подняли всех ночью, кое-как построили, и начался марш в неизвестном направлении. Марш длился сутки. С очень редкими привалами. Прошли восемьдесят пять километров. К полудню следующего дня колонна в тысячу человек начала распадаться, оставляя за собой тех, кто не мог подняться. Когда в сумерках добрались до окраины Горького, никакой колонны уже не было. Каждый брел, как мог, цепляясь за изгороди. Не было сил даже материться. Падали, поднимались, ползли на четвереньках.

Черняев и сегодня не может найти разумного ответа на вопрос: «Почему так по-скотски поступили с молодыми людьми,

которым вот-вот предстояло ехать на фронт? Какая была воинская или, может, воспитательная (?) необходимость гнать их почти сотню километров, чтобы потом кто три дня, а кто и неделю не мог передвигаться?!»

А потом начались публичные — при всем лагере — военные трибуналы. Где приговаривали к расстрелу дезертиров. Причем дезертировали они не с фронта. Просто человек сбежал из эшелона домой, проезжая мимо родных мест. Отвратительная была процедура. Вызывала бешенство и ненависть к аккуратеньким, чистеньким, в обмундировании, в портупелях прокурорам и судьям.

Про печные трубы и первый бой

Через полтора месяца их выгрузили в Сходне. Черняев помнит овраг и как становились на лыжи, как впереди на опушке леса шел бой, рвались мины... Прошли три километра и опять видели бой. Вошли в деревню с горящими избами, промерзли там до утра... (*Черняев смеется*: «А через два года я получил медаль «За оборону Москвы»».)

Потом их опять повезли куда-то по Савеловской дороге. Везли долго. И в одно морозное утро выгрузили прямо посреди поля. Переночевали в деревне. Она была почти целой. Но люди из нее сбежали. Поразило, что во всех печных трубах пробиты дыры. Его солдат, крестьянский сын Чугунов, объяснил Черняеву: «Это чтобы те, кто придет в дома, не топили. От неумелой топки пожар может быть».

Ночь была морозная, и утром у взводного обнаружили воспаление легких. Его эвакуировали. А Черняева назначили командиром взвода.

Про медсанбат

Утро. Яркое солнце. Слепящий снег. Выдвинулся батальон. Вскоре в пролеске Черняев впервые увидел медсанбат. Раненых снимали с саней. В палатках не хватало мест. Раненые лежали прямо в снегу. Мороз градусов под тридцать. Стоны, ругань. Огромное количество окровавленных бинтов. Залитые замерзшей кровью сугробы. И рядом, везде, вокруг трупы.

Про бой без винтовок

«Ну так вот: конец сорок первого. Я попадаю в 203-й отдельный лыжный батальон (это 750 человек). Батальон в составе

1-го гвардейского стрелкового корпуса 1-й ударной армии.

Под Старой Руссой началось окружение немецкой 16-й армии. Район маленького провинциального городка Демьянска. Это первое в войне окружение немцев удалось с грехом пополам.

...Батальон остановился. Командир «ставит задачу»: на том берегу Ловати, вон там, вдали — фанерный завод, там — немецкие пулеметчики и снайперы, надо прорваться на тот берег по тракту, который пересекает реку метрах в ста от этого завода. Мне приказали «подавлять пулеметчика» на фанерном заводе двумя 82-миллиметровыми минометами. Начали стрельбу, минометы попали в сам завод. Но как только первые лыжники вышли на лед реки, пулемет опять заработал. Я понял, откуда «свежие» раненые в медсанбате. Это из тех, кто прорывался до нас. Я стрелял, пока не кончился боезапас, рассчитанный на двадцать минут. Свернулись, побежали через реку и мы, минометчики. Благополучно.

Это был странный бой. Кстати, не только первый, но и последний мой бой в роли минометчика. Миномет оставили при следующем переходе в хозвзводе, а он безнадежно отстал.

Да что там минометы! В первые атаки солдаты ходили вообще без оружия. Расчет был прост: или у нашего убитого возьмешь, или у немца отнимешь. Вот перед наступлением спрашиваю комбата: «Как же будем наступать, если в моем взводе винтовка появилась только у меня одного, а у остальных нет ничего?» А комбат — зло: «Пойдешь во «втором эшелоне», потом соберешь у своих, а у немца достанешь трофейное».

Про расстрел Гафта

Когда останавливались где-то в селе на ночлег, была проблема — как обеспечить охрану дома. Выставишь часового на улицу, через пять-десять минут смотришь: он уже сидит в сенях на лавке и спит. Обругаешь, пошлешь другого: то же самое. И так до утра. И вот как-то утром Черняева вызвали в штаб. В горнице сидел за столом толстый комбат. Рядом с ним его замы. Поодиночке входили командиры. Располагались у стены. «Введите!» — скомандовал упырь. Ввели Гафта. Того самого черняевского знакомого студента с истфака. Гафт был без шапки, без шинели, без ремня. Комбат разорлся: «Вот этот — как тебя... Гафт. Покинул ночью самовольно пост. Разводящий застал его спящим в доме, который он был поставлен охранять. Я приказываю его расстрелять. И чтоб все ваши бойцы знали, как будем поступать с такими...»

Гафт в слезах бросился на колени. Черняев кинулся к столу, стал рассказывать комбату, какой Гафт хороший, честный... Комбат рывкнул: «Молчать, сержант!» Гафта потащили во двор и там расстреляли.

Черняев возвращался в бешенстве. Какая сволочь! Он что, тоже должен был расстреливать своих ребят, когда заставлял их спать? Или побегать донести этому ублюдку? Ведь деревню заняли и ничего не делаем. Кто-нибудь обороной занимается? Вопреки приказу Черняев не рассказал своим ребятам, что произошло.

Потом был бой. Подбежал боец: «Старшой, танки сзади!» («Против танков у нас ничего не было — ни гранат, ни противотанковых ружей».)

Из 750 человек батальона в том бою уцелели только 147 человек. Комбат не пострадал. Он ото всех прятался. (Черняев потом напишет: «Так состоялся... бой. Боевого духа он, как понимаете, не прибавил, но укрепил во мне рождающуюся из презрения к начальству обреченную, безнадежную храбрость...»)

Не помню, кто сказал: «Воздух держит дерзких».

...А в апреле сорок второго был бой — нет, не бой, а настоящая мясорубка. И там после дикого разгрома под Бяковым-Рамушевым 203-й отдельный лыжный батальон 1-го гвардейского корпуса вообще перестал существовать. Даже само название исчезло.

Из этого 203-го отдельного лыжного батальона в живых остались только двое: Черняев и солдат Чугунов. Куда потом делся солдат Чугунов, Черняев не знает.

Про «рамы» и «костыли»

«Над нами каждый день и беспрепятственно кружили либо «рама», либо «костыль» — немецкие разведывательные самолеты (заодно и корректировщики огня) с совершенно удивительными повадками. «Рама» — это двухфюзеляжный двухмоторный самолет, и вправду похожий на тонкую оконную раму. Она проделывала невероятные фортели в воздухе, чуть не переворачивалась «через голову». За вертлявость ее называли «протитуткой». Она резко снижалась, почти до земли, внезапно взмывала вверх и парила как ястреб над добычей. Сколько раз я видел, как наши истребители пытались сбить «раму». И ни разу не видел, чтобы им это удалось. «Костыль» — одномоторный моноплан — в отличие от изящной «рамы» вид имел отвратитель-

ный. Он был похож на современные спортивные самолеты. Мало того что маленький, вертлявый, тихоходный самолетик, так еще и бронированный. Его тоже не так-то легко было прижучить — ни зенитками, ни истребителями. И вот сначала «рама» пролетает, по ней стреляем, она вертится, потом «костыль»... Они высматривают ситуацию. Мы уже знали, полетают «рама» и «костыль», а потом нас начнут обстреливать. Или вот прилетают бомбардировщики. Это было ужасно, когда прилетали бомбардировщики. Они выстраивались в круг, пикировали вот так (*показывает*), бросали бомбы и включали сирену. Душераздирающую сирену. Потом опять на круг выходили. Девять самолетов делали один круг, другой... Пока все бомбы не выбросят, не успокоятся. Это было ужасно, ужасно. Особенно вой этих душераздирающих сирен...

У меня одно время был связной, очень хороший парень. Храбрый человек. И в бою, и против пулеметов — бесконечно храбрый. Он все время выходил к реке, высматривал немцев на другом берегу, сто метров их отделяло, и не боялся. Но когда начиналась бомбежка под вой сирен — с ним случалась истерика. Его надо было просто держать за сапоги. Выскакивал из окопа, бежал куда глаза глядят и прямо терял сознание. Я знал таких людей. Они переносили абсолютно все. Даже минометный огонь. Но бомбежку под вой сирен переносить не могли.

Про солдат и Сталина

«После разгрома 203-го батальона мне сформировали новый взвод. Тридцать человек. (Никого из прежних «лыжников». Даже моего верного Санчо Панса — Чугунова.) Мужики были в два раза старше меня. Курские, воронежские и орловские крестьяне. Такие основательные, по-деревенски ироничные, насмешливые. Спокойные и невозмутимые. Честные, сильные мужики. Некоторые еще в Гражданской войне участвовали. Меня они уважали. Не сразу, конечно, а вот после первого опыта на передовой в июне — окончательно. Уважали за то, что я — столичный (в Москве они никогда не были), что «ученый» (студент), что мне интересна их прошлая жизнь на гражданке. Писем они не получали: их деревни были «под немцем». Иногда любопытствовали, о чем могут писать из тыла их командиру, просили прочитать «что можно». По разным письмам «от женска полу» пытались определить, подходит мне авторша письма или нет.

Что они думали о Сталине? Да ничего они о нем не думали.

В беседах наших, в разговорах вообще о нем не вспоми-

нали. Не то чтобы ходить в атаку с его именем — об этом я еще впереди скажу.

Так вот: к Сталину мои солдаты относились совершенно спокойно. Ну да, Хозяин, Главкомандующий. Но — никакой эйфории, никакого обожествления... Ну вот абсолютно ничего этого я никогда не чувствовал, не слышал, не видел. Не было этого. Не б-ы-л-о...

И сказать, что русский мужик за Сталина воевал — это нелепость, абсурд.

Никогда русский мужик в атаке не произносил эти слова: «За Родину! За Сталина!». Он эти слова видел только в боевых листках, в дивизионных или армейских газетах. Журналисты, что эти «агитки» писали, все или почти все выдумывали. А солдаты потом переписывали «боевые эпизоды» из этих газет в свои письма к родным (*смеется*). Я им, кстати, помогал переписывать, и мы все при этом хохотали...

Теперь про атаки».

Про атаки

«Я участвовал в двух атаках. **За всю войну — всего в двух!** Но это даже много. Как правило, после уже первой атаки человек либо бесповоротно искалечен, либо сошел с ума, либо мертв. Но мне повезло. Я остался живой. (*В другом месте он скажет*: «Война — это не постоянные атаки, а очень много свободного времени».)

Атака обычно идет целый день. Вот мы, когда еще был жив наш лыжный батальон, целый день по снегу идем в атаку. Снег — по колено, по пояс и выше. И вот мы идем по этому рыхлому снегу, рассредоточенные, по нам строчат пулеметы, и мы идем, падаем, поднимаемся, падаем, поднимаемся, падаем...

Атака — это шок. Человек психологически меняется совершенно. Вообще ничего не понимает и не чувствует. Потому что: вот-вот, еще секунда — и пуля, мина... Всё!!! Человек — готов. Без ноги, без руки или убит. Человек думает только об этом. Не до товарища Сталина ему. Он матушку свою не вспоминает. Впрочем, нет, мать вспоминает (*смеется*), но другую... Е...т...м... !!! (*Так он сказал, и эта аббревиатура — Е...т...м... !!! — вынесена в заголовок. — З. Е.*) Да, если человек в атаке чего и орал, так это был сплошной мат.

Никто не кричал в атаке: «За Родину! За Сталина!» Это пропагандистская ложь. Любой честный фронтовик подтвердит.

Кадровый командный состав был выбит Сталиным до войны весь — до уровня взвода, роты, батальона. Сталин поверил Гитлеру. Сталин не разрешил вывести войска на передовую, когда уже было совершенно ясно, что немцы вот-вот нападут. Главными своими потерями мы в первые месяцы войны обязаны Сталину, а не Гитлеру. Четыре миллиона одних только пленных, не говоря уже об убитых! Это все результат сталинской «великой» полководческой стратегии! Той, о которой с таким упоением говорят сегодня ветераны-сталинисты.

Лужков утверждает: это по просьбе ветеранов... ну, эти затеи с портретами Сталина, которыми в день 65-летия Победы должна будет «украшена» Москва... Я знаю: в ветеранских организациях сидят в основном генералы. Раньше было это деление, совершенно четкое: фронтовик или ветеран... А это, как в одном, теперь уже иностранном, городе говорят: две большие разницы. Ходили ли лично те ветераны, по чьей просьбе Лужков собирается вывешивать портреты Сталина по Москве, в атаку или не ходили? Или, если они тогда были большими начальниками, видели ли сквозь щели своих блиндажей, как солдаты идут в атаку?!

Нет, не Сталин выиграл войну, а простые солдаты, комбаты, врачи, медсестры, санитарки, нянечки. И — новые генералы, которых вернули из ГУЛАГа. Они, эти новые генералы, возникли уже в ходе боев и в боях этих обучались, и без их самостоятельности и инициативы не то чтобы победы, вообще этой настоящей войны не было бы... Вот кто выиграл войну!».

Сорок второй год: в лыжном батальоне Бог Его миловал. (*Его — это опечатка, с большой буквы машинистка случайно набрала, но мы решили оставить: относится к обоим. — З. Е.*) В сорок третьем уцелеть было уже проще. Ранили в сорок четвертом, за Ригой.

Про мотивацию

«Хочу сказать о мотивации простых, не очень грамотных солдат... Вот они, мои солдаты... Разные были люди. По характеру, по своим мужским данным, по уровню смелости, самоотверженности. Эта разность естественна, это — биологическое развитие. Но я никогда нигде ни в каких разговорах не слышал панических настроений. Никто не верил, что Гитлер может завоевать Россию. Никто не представлял себе, что Россия за Урал уйдет или еще куда. Не могло такого быть! И это было внутренним, инстинктивным ощущением солдат: победить Россию не-

льзя. Индивидуальная такая мотивация была: надо, Вася, надо! Опасно, страшно, безобразно, тяжело, кончиться может совсем смертью, — но Н-А-Д-О, Вася, Н-А-Д-О! Вот этого мотива Гитлер не учел. А этот мотив определил и упорство, и героизм русского солдата.

А Сталин, кстати, учитывал этот мотив. Сталин знал: не за него будут воевать. А потому что русский человек считает: вот надо...»

Про 9 Мая 1945 года

«Эстония. Ночь. Я сплю под деревом. И подбегает солдат от командира полка, и расталкивает меня: «Капитан! Капитан! Война кончилась!» Я вскочил. Ну что тут началось! Все, что было: в пулеметах, в пулеметах, в автоматах, — все полетело в воздух! Салют! Салют!» (*Смеется.*) «*Это было счастье?*» — спрашиваю я. *Черняев опять смеется:* «Нет, не счастье, а ощущение счастливого конца. Отдохновение какое-то. Победили!!!»

Вместо послесловия

Про поколение комбатов после войны

«После войны я испытал чувство какой-то ненужности. Вот нужен был в войну, а как война кончилась, никому.

Я вернулся в Москву. Вернулся в университет. И вдруг ощущение: стирают, замазывают поколение. Мой друг и одноклассник поэт Давид Самойлов назвал наше поколение поколением комбатов. Эти комбаты были потенциальными декабристами. Сталин это прекрасно понимал. Они как свободные люди воевали. (*Странно, тут Черняев говорит: они, а не мы... А, может, и ничего странного, просто он не о себе, а о поколении, и тут нужна отстраненность и строгость. — З. Е.*) Они повидали Запад. Они повидали все. Они нажили новое человеческое достоинство. Самостоятельные мужики. Пришедшие с войны. Раненые, не раненые, но самостоятельные мужики. Сталин правильно боялся этого поколения.

Именно поэтому через два года после Победы был отменен День Победы, 9 Мая как праздник. И те самые деньги, жалкие, но все-таки деньги, которые давали за фронтовые награды (пять рублей — за медаль, пятнадцать — за орден), отменили. Помню,

я ходил на Сретенку за этими доплатами. Хлеб стоил пять копеек, трамвай — три копейки. Так что доплаты — это были деньги». (Смеется.)

«А у вас — сколько наград?!» — спрашиваю я. «Три медали и три ордена, в том числе два Отечественной войны — первой и второй степени». «Ну, это был целый заработок», — говорю я. «Да! Кое-что». (Снова смеется.)

Про награды

«А потом появилось это знаменитое стихотворение Слуцкого, которое все цитировали: «Ордена теперь никто не носит, /Планки носят только дураки». И, действительно, вот, Зоя, вы не поверите, но мне было стыдно, я не напяливал на себя, не ходил в университет с орденами и медалями. И никто не ходил, не только я... Потому что считалось (*опять смеется*), ну чего ты выпендриваешься?.. Увесился наградами — и отличаешься от другого?»

Про «космополитию»

«А потом началась «космополития»... То есть космополитизм — сталинская борьба с внутренним врагом по национальному признаку... Ужасная, подлая затея. Чудовищная...

Вот у меня в батальоне все мои солдаты воевали храбро. Белорусы совершенно отчаянно. Грузины — великолепно. Евреи — замечательно.

Помню: сорок пятый год уже, мы выдвигаемся на новый рубеж, впереди идут саперы, за ними я со своей группой, и вдруг — взрыв... Я подхожу, на опушке леса мой сапер-разведчик, оторвало ногу по щиколотку, на мину наступил. Нагнулся над ним, а он говорит: «Вот, товарищ капитан! Был у вас в батальоне один герой-еврей, и тот накрылся!» Ну, конечно, не «накрылся» сказал, а матом. Его увезли, рана была не смертельной, но ногу он потерял. А ведь и вправду был герой.

Татары поволжские воевали очень храбро. Про украинцев вообще не говорю, они — как мы, где русский, где украинец — не поймешь.

Мы до войны совсем не отличали никаких национальностей... Я в школе учился, например, с Лилькой Маркович, это Лунгина, там две трети были евреи, но мне в голову не приходило, что вот я — русский, а они — евреи...»

Про послевоенную Москву

«Я вернулся в Москву, когда были еще карточки. По карточкам давали 400 граммов хлеба. А больше ничего купить было нельзя. Денег у меня не осталось. Потому что все свои деньги, которые получал по аттестату (так называлось), то есть по жалованью офицера, — я все посылал матери. У меня даже на партвзносы почти не оставалось денег. Поэтому купить ничего в коммерческом магазине не мог.

Я пайку хлеба съедал еще в библиотеке или во время занятий, и вот прихожу домой, а есть совершенно нечего.

Жили мы в Марьиной Роще. Там у нас за сараем крапива росла и конопля. И вот рубил я эту крапиву и коноплю и жарил на сковороде, масла никакого не было, поэтому жарил с горчицей, а в горчице все-таки есть какие-то масла. И получалось такое «жаркое»... Я запомнил эту еду на всю жизнь.

Вспоминал сорок второй год, весну на фронте. Мы были отрезаны от тылов, и голодали жутко, и жрали крапиву и конину убитых лошадей. И это было лучше, чем в послевоенной Москве...

Еще на войне у меня был порыв остаться в армии. Особенно когда ввели офицерские звания, а я ж из офицерской семьи... Мой отец был офицером царской армии. Но потом, когда война кончилась, у меня началась мощная ностальгия по мирной жизни. И я, чтоб демобилизоваться из армии, все в ход пускал: писал рапорт за рапортом, даже астму свою припомнил, она меня на войне сильно прихватывала, но я ее от всех скрывал, а тут вовсю и астмой мотивировал.

Вот одно было на уме: вернуться! В жизнь!!! Вернуться туда, откуда ты ушел на фронт».

Наверное, верил: от послевоенного отчаяния его могут спасти книжки.

«В этот истфак! На улицу Герцена! На Моховую! К этим живым профессорам! К этим книгам! В библиотеку! В Историческую библиотеку, которая во дворе старого здания МГУ. Мне хотелось вернуться туда — не просто в мирную жизнь, а именно в ту, которую я оставил в сорок первом».

P.S. *И вот я все рассказываю и рассказываю теперешним «мальчишкам державы» (впрочем, и девочкам тоже) свой еще не опубликованный «текст слов» про Анатолия Черняева, мальчика державы шестидесятипятилетней и почти семидесятилетней давности.*

Я говорю студентам: вот Черняеву на тот год исполнится девяносто лет (это в четыре с половиной раза больше, чем им), а он мало того что не выглядит на эту серьезную цифру, но по-прежнему — красавец. Седой, но с пышной («не ликвидированной») прической. И такая мощь от него идет, такая неожиданность, такая радость...

Не знаю, удастся ли мне этой заметкой хоть в чем-то переубедить своих студентов в их восприятии Дня Победы.

Прочитают — расскажут.